





# Пролог

Дьявол всегда мог быть поблизости.

Конечно, Бог все видел. Как и Спаситель.

Поэтому они никогда не оставались совершенно одни. Даже когда отправлялись к илистым берегам или соленым топям, которые называли Черным заливом, потому что во время прилива их почти полностью покрывала вода, или когда им случалось подниматься на Тригорье — на самом деле три отдельных холма: Хлопковый, Страж и Маяк, — которые они в прямом смысле сплюснули, когда рыли землю и строили дамбы, причалы и склады. Даже на узком перешейке, который вел к большой земле, даже в лесу (и особенно когда они были не в лесу) на дальнем краю узкой косы.

Они знали, что нечто таится рядом, когда они словно бы одни оставались в своих маленьких темных домах — с окнами-шелками, часто закрытыми от ветра и холода, — когда мужчина писал в своем дневнике (по сути, учетной книге, куда он скрупулезно вносил события каждого дня и отчеты о своем состоянии в попытке вычислить, не относится ли он к числу избранных) или женщина мимоходом записывала несколько поэтических строк, посвященных деревьям, рекам либо восхитительным песчаным дюнам, в ночи перекатывающимся, точно морские волны.

Иногда чужое присутствие пугало, особенно если появлялись признаки, что за этим стоит Дьявол. Но наступали моменты, когда оно успокаивало и они, лишь овцы под божественной волей, не чувствовали себя одиноко

в компании пастуха. Его присутствие баюкало, ободряло и ощущалось как нечто завораживающе прекрасное.

Так или иначе, но чаще всего мужчины и женщины находили утешение в том, что есть объяснения миру, по сути своей загадочному, причем загадочность его обычно проявлялась в чем-то ужасном: ялик с десятком гребцов исчезал под водой где-то между причалом и массивным, стоявшим на якоре кораблем, груженным бочками со специями, контейнерами с порохом и ящиками с оловянной посудой, фарфором и текстилем. Тот ялик исчез безвозвратно. Только что моряки в доках отлично его видели. И вдруг небо закрыли тучи, полил дождь, и лодка не вынырнула из бурунов и пены, а тела так и не нашли.

И позднее не нашли.

Или тот фермер, которому бык проткнул рогом живот, и он через три дня, проведенных в непрерывной агонии, умер в своей постели. Как вы это объясните? К тому времени, когда его муки подошли к концу, перья и обертки кукурузных початков в большом мешке под ним были столь же красны, как и холстина, в которую они были завернуты. Никогда еще человек не истекал кровью так долго.

Три дня. По-библейски символично.

И все-таки. Все-таки.

Как вы объясните случай, когда муж сломал жене ногу кочергой, а затем приковал за пояс к плугу, чтобы она не сбежала с его участка? И кто после этого пропадает? Женщина прождала целый день, прежде чем начать звать на помощь.

Как вы объясните ураганы, уносящие в море целые причалы; пожары, изливающиеся в дом из очага и оставляющие после себя лишь две почерневшие трубы; как вы объясните засухи, голод и потопы? Как вы объясните смерть младенцев, смерть детей и — да — даже смерть стариков?

Никогда они не задавались вопросом «Почему я?». На самом деле они даже никогда не задавались более разумным вопросом «Почему кто-либо?».

Потому что знали. Они знали, *что* обитает снаружи, в дикой местности, и *что* обитало у них внутри и было, вероятно, еще более диким. Пусть добрые дела не могли ни на йоту изменить их суть: первородный грех — не выдумка, предопределение — не байка, но они могли быть знаменем. Добрым знаменем. К святости приобщались после освобождения от грехов.

Что до разводов... то они случались. Редко. Но случались. Развод разрешался. По крайней мере, официально. Досудебное примирение всегда было предпочтительнее тяжбы, поскольку в конце концов то была община святых. Во всяком случае, так было задумано. Реальные основания имелись постоянно: уход от супруга, нищета, двоебрачие, прелюбодеяние (которое поистине должно было караться смертной казнью, как завещал Господь в Книге Левит и Второзаконии, однако на деле ни одного прелюбодея так и не повесили), мужское бессилие, насилие.

Это был жестокий мир, но бить законного спутника жизни тем не менее не дозволялось.

По крайней мере, в тех случаях, когда он или она не давали к этому повода.

Мэри Дирфилд знала все это, знала потому, что Господь наделил ее исключительным умом, — что бы ее муж Томас ни говорил. И хотя мозг не помог Энн Хатчинсон<sup>1</sup> (сам Уинтроп<sup>2</sup> заявлял, что она навлекла на себя беду, когда

---

<sup>1</sup> Пуританка, в XVII веке проживавшая в английской колонии в Северной Америке и создавшая свое религиозное течение, не вписывавшееся в ортодоксальные рамки. Была осуждена и приговорена к изгнанию. *Прим. пер.*

<sup>2</sup> Американский государственный и религиозный деятель. *Прим. пер.*

слишком усердно старалась думать как мужчина) — а много позже он однозначно не поможет женщинам, повешенным как салемиские ведьмы, — Мэри своим разумением понимала, что не сделала ничего плохого и не заслуживает того, чтобы ее били, как тупую скотину. Она бы этого не потерпела. Судя по всему, ее мать и отец — благослови их Господь — тоже не стали бы требовать, чтобы она с этим мирилась.

Конечно, причиной послужило не только насилие с его стороны, и она даже не сводилась к их перепалкам. Не одна лишь его жестокость разрушила их брак, и в ловушку развода их завлекли силы, лежавшие за пределами ее разума. В какой-то момент она поняла, что иногда предпочитает присутствие лишь ангелов и своего Господа, а иногда, наоборот, многое отдала бы за компанию человека.

Потому что даже для разума столь острого, каким обладала Мэри Дирфилд, это было признание собственных низменных желаний и беспокойных демонов, поднимавших голову в минуты, когда свет вокруг мерк.



## 20

Мэри Дирфилд, вы обвиняетесь в колдовстве. Есть множество свидетельств, подкрепляющих данное обвинение. Скажите нам прямо, чтобы мы понимали, из чего следует исходить: хотите ли вы признаться в том, что пали жертвой искушений Дьявола и заключили договор с Нечистым?

*Обвинение, зачитанное губернатором  
Джоном Эндикоттом,  
из архивных записей губернаторского совета,  
Бостон, Массачусетс, 1663, том I*

Кэтрин приготовила ужин на троих: тыквенное пюре и моллюски, которые Томас в то утро наказал ей купить на рынке. К этому всему были кукурузный хлеб и сыр.

В какой-то момент Томас положил кулак рядом с тарелкой Кэтрин и спросил девушку:

— Ты по-прежнему думаешь, что твоя хозяйка одержима?

Мэри попыталась понять, к чему он клонит: тон звучал вроде бы снисходительно, но последнее слово он произнес с каким-то особым нажимом, что придало ему грозный оттенок.

Кэтрин мрачно покачала головой и поднесла ко рту моллюска, чтобы высосать вареное животное из раковины. Девочку загнали в угол. Что она могла сказать? В тот день они договорились, что она заберет свои пожитки от матушки Хаулэнд и вновь будет жить с Дирфилдами. Ночью она снова будет спать на кухне, как и все то время,

что жила в Бостоне, за исключением дней, проведенных у Хаулендов. У Мэри было подозрение, что сегодня ночью служанка крепко не уснет, но не испытывала сочувствия по этому поводу. Если Кэтрин и желает Томаса, он, судя по всему, не отвечает на ее страсть; если она на самом деле считает, что Мэри ведьма, то теперь она заперта с ней в одном доме. Да, Мэри проиграла, но и Кэтрин, видимо, тоже.

— Хорошо, — сказал Томас. — Ты снова будешь счастлива здесь.

Он глотнул пива и благодушно улыбнулся. Потом рассказал, что попросил доктора зайти к ним и обследовать руку Мэри, чтобы узнать, как она заживает.

— Это обязательно, — сказала она ему.

— О нет, обязательно, — возразил он и передразнил ее слова в ратуше: — В конце концов, Мэри, чайник может стать напуганнейшим оружием.

Мэри не ответила. Она повернулась к Кэтрин и сказала:

— Я все еще скорблю по твоему брату. Мне жаль, что он ушел таким молодым.

— Он с Господом. Сейчас ему хорошо, — пробормотала та.

— Да, — согласилась Мэри. — Это так.

Когда они закончили обедать, Томас поехал обратно на мельницу. Мэри и Кэтрин убрали со стола. Кэтрин пошла к Хаулендам, а Мэри осталась сидеть одна за кухонным столом. В комнате стояла полнейшая тишина. Ее мысли вернулись к обеду. Томас прочитал короткую молитву и поблагодарил Господа за то, что тот вернул ему жену. Все это прозвучало мирно и без намека на какие-либо извинения с его стороны: как будто Мэри потерялась в море и вдруг, ко всеобщему изумлению, ее отыскали. Все, что он говорил, звучало либо зловеще, либо обыденно. В какой-то момент он попытался быть добрым и рассказал

про фермера из Салема, с которым заключил сделку этим утром. А через какое-то время посмотрел на пюре и вслух спросил:

— Что вы обе думаете? Нужен ли мне виночерпий? Стоит ли мне поискать личного Неемию<sup>10</sup>, чтобы знать наверняка, что моя еда не отравлена?

Мэри подумала о яблоках, которые отравила его дочь, но и она, и Кэтрин промолчали.

Теперь, сидя в одиночестве, Мэри поняла, что не знает, как быть дальше. Однажды этим летом она гуляла по окраине города и увидела, как ястреб пикирует на фермерское поле и взмывает с бурундуком в когтях. Бурундук был жив, но не вырывался. Он был ошеломлен. Парализован. Мэри понимала, что в ее случае все не настолько страшно: ей не грозит мгновенная смерть. Ее не съедят. Но она никак не могла осознать, что всего два часа назад стояла в ратуше в надежде услышать, что ее прошение удовлетворено и она свободна. Вместо этого она была — слово пришло к ней в голову, и она не сочла его излишне драматичным — узницей.

Она была узницей человека, внутри которого сидел монстр. Он жил среди четырех его гуморов, и человек жил согласно его прихотям. В пьяном состоянии он был особенно подвержен его свирепым фантазиям, и было бы ошибкой приписывать жестокость одному лишь пристрастию к сидру и пиву. Она знала, на что он способен, даже будучи трезвым. К тому же его зло было обдуманном: он (постоянно) нападал на нее, только когда они были одни.

Наконец Мэри встала. Подошла к ведру, где Кэтрин замочила ножи и вилки, и вытащила из воды нож. Мэри держала его в правой руке и вновь подумала о бурундуке в когтях ястреба. Она чувствовала себя выпотрошенной,

---

<sup>10</sup> Виночерпий при дворе персидского царя Артаксеркса I, ему приписывается авторство библейской «Книги Неемии».



эмоции возникали ниоткуда и буквально накрывали ее с головой, скорбь грызла ее глубоко изнутри — и она расплакалась. Она упала на пол, прислонилась спиной к стене и сквозь слезы продолжала смотреть на лезвие. Прижала его к левому запястью, размышляя, может ли она это сделать и стоит ли разрезать кожу и смотреть, как кровь стекает на деревянные доски.

Она перевернула руку, посмотрела на отметину от вилки и вспомнила, какую боль испытала в тот момент, когда он проткнул ее. Ей вспомнилось «Послание к коринфянам»: *«Смерть! Где твое жало?»*. И ответ: *«Жало же смерти — грех»*<sup>11</sup>.

Но она знала, как жгут зубья Дьявола. Нет, она знала, как жжет вилка.

Это был столовый прибор, не более дьявольский, чем этот нож в ее руке или другие, которые отмокали в ведре вместе с ложками, и с этих пор она будет называть ее только так и никак иначе. Это была... вилка. И будет ли жжение от ножевого пореза сильнее той агонии, в которую Томас вверг ее вилкой? Когда-нибудь она узнает, какой у Бога был для нее вселенский план, суждено ли ей быть с избранными или с обреченными. Так уж ли это важно, узнает она это через десять лет или через десять минут? Нет, Бог непостижим. Она может умереть здесь, и к тому времени, когда Кэтрин или Томас вернутся, от нее останутся только пот, слезы и вытекшие остатки ее горячих гуморов, а ее душа отправится в Рай либо в Ад.

Она повернула нож так, чтобы кончик касался запястья с внутренней стороны, и нажала, чтобы потекла кровь. Порез был небольшой, но достаточно глубокий, и она смотрела, как из него течет кровь. Она представляла, как режет свою плоть, точно потроша кабана. В правой руке было достаточно силы. Она больше не будет

---

<sup>11</sup> Первое послание к коринфянам, 15: 55–56.

лежать здесь и предстанет перед Спасителем или Сатаной. Она может это сделать. Она посмотрела на громоздкий стол и окно за ним: оттуда лился дневной свет. Ей нравился свет в это время года. Она любовалась тем, как он играет на деревьях, когда листья окрашиваются во всевозможные оттенки красного и желтого, опадают и тонкие черные ветки дубов вырисовываются на фоне сапфирового неба. В какое-то время кажется, что смотришь на мир сквозь кисею, и солнце окрашивает все вокруг в умиротворяющие темно-желтые тона.

И к ней пришло слово, каждый слог звучал отчетливо и ясно: вставай. Был ли это ее Господь? Это определенно был приказ. Вставай. Вставай сейчас же. Она посмотрела в очаг, пламя в котором почти погасло, и в нем тоже увидела красоту огня. Голос, если он действительно был, исходил не от Создателя и не от Дьявола. Это был... ее голос. Это ее душа напоминала ей, что в конечном счете ее судьба — в руках Господа, и так было с начала времен, но эти мгновения на земле принадлежали ей. Они. Принадлежали. Ей. Жалость к себе копилась у нее внутри, как снег в январе на подоконнике, и застила ей зрение — с того самого момента, как она снова переступила порог этого дома. Ей стало страшно, что, не пошевелившись она, она бы взяла нож, вырезала себе из руки кусок плоти и больше никогда не встала бы. А это не то, чего ей хочется. Совсем не то. Ей хочется большего, ей хочется жить. Где та женщина, которая стояла в городской ратуше и клялась, что добьется справедливости, после того как вынесли несправедливый приговор? Куда она исчезла? Мэри вспомнила свою решимость в тот момент, наклонилась, уронила нож в ведро и, опершись на обе руки — хотя левую, в которой кость только срасталась, тут же пронзила боль, чуть не вызвавшая судорогу, — поднялась на ноги. Она не станет упиваться горечью, лежа на полу. Она будет сражаться. Какой там военно-морской термин?

Строй кораблей. Она развернет бортовую артиллерию в сторону Томаса и при этом не сдаст позиций всяким бостонским Кэтрин Штильман, матушкам Хауленд, Перегрин Кук и, может быть, даже Ребеккам Купер. Она выяснит, кто закопал вилки и пестик во дворе — и зачем. А главное — она будет свободна. Она не может и не будет так жить: жизнью существа, размышляющего над собственной кончиной от своих же рук; хозяйки, преследуемой собственной служанкой и боящейся своего мужа.

Мэри подошла к окну, чтобы посмотреть на мир и созданный Богом свет, на этот бесценный дар, — и какое-то время любовалась им. Но прекрасному мгновению не суждено было продлиться долго. Она увидела врача Роджера Пикеринга верхом на грациозной серо-белой лошади: он как раз подъехал к их двору. Когда он спешился, их глаза встретились. Он приподнял шляпу и принялся привязывать животное. Мэри прижала рукав блузки к запястью в том месте, где она проткнула кожу кончиком ножа, и вытерла кровь, засохшую вокруг ранки. Она сомневалась, что доктор вообще ее заметит.



В ту ночь Томас грубо овладел ею, и от боли она вцеплялась пальцами в одеяло. Он схватил ее за волосы так, что ее голова откинулась назад, и шептал ей на ухо, что она грешница, шлюха и ослушница. Ее голые ноги были на полу, она старалась сосредоточиться только на кусочке шершавого дерева под правой пяткой, но сознание не могло отвлечься от боли между ног и кожи головы, когда ей казалось, что Томас сейчас выдернет ей пряди волос. Он задрал ей голову так сильно, что, открыв глаза, она увидела крышу и балки, протянувшиеся между скатами. Она подумала: сейчас им движет только ненависть?

Пытался ли он вообще контролировать свою звериную похоть или это был еще один способ наказания? Он не был пьян, это она знала. После всех заявлений и замечаний в суде за ужином он пил заметно меньше пива.

Закончив, он отпустил ее волосы и толкнул на одеяло. Она подумала, что на этом все, и потянулась за своей сорочкой. Но он схватил ее за правую руку, резко развернул и притянул к себе. Затем, когда она почувствовала, как его семя стекает по ее ногам, он взял ее за левую руку и угрожающе сказал:

— Доктор говорит, что твоя рука заживает. Ты должна вести себя осторожнее, Мэри. Я знаю, ты считаешь, что я ударил тебя без причины, но это не так. Тебя нужно объезжать, как лошадь. Смирять, как падшего ангела. Ты просто тупа или в тебе сидит что похуже? Что-то гордое? Что-то, что навлечет на тебя вечное проклятие?

Ей хотелось напомнить ему, что ее спасение или падение давным-давно предопределено<sup>12</sup>. Но она понимала, что сейчас опасно раскрывать рот.

— Наверняка я знаю только одно, — продолжал он. — Ты не выдержишь еще одну случайность вроде того несчастного случая, — он сделал короткую паузу, — с чайником. Я чувствую твою агонию, Мэри. Я чувствую.

Он довольно долго держал ее левую руку в своей, в тусклом свете единственной свечи изучая сломанную им же кисть.

---

<sup>12</sup> Пуритане подхватили идею кальвинизма о предопределении, согласно которой решение о том, кто из людей после смерти попадет в рай или низвергнется в ад, было принято Богом еще до начала времен и никакие людские поступки неспособны на него повлиять (хотя Церковь порой напоминала, что особенно отличившиеся грешники могут временно утрачивать благодать). Считалось, что избранные (те, которым суждено спастись) в определенный момент жизни переживают глубокое внутреннее умиротворение, что считалось одним из показателей праведности человека. *Прим. пер.*

— Да, она заживает, — сказал он теперь задумчивым тоном, как будто убедившись. Но она видела, что у него в голове зреет какая-то мысль — недобрая мысль. — И эти пальцы непохожи на ведьмины когти.

Она ждала молча и настороженно.

— Ты знаешь, почему я солгал в ратуше?

Его прямолинейность застала ее врасплох. Она знала, что может дать множество ответов, от расплывчатых и ложных до самых обличительных и правдивых. Она могла сказать, что он любит ее, и могла сказать, что он гордец и хотел спасти остатки репутации. Она могла предположить, что потерять треть собственности было для него невыносимо. Могла даже сказать, что он рискнул своей бессмертной душой потому, что на самом деле никакого риска не было: он и без того знал, что спасение ему не суждено, а в таком случае какой еще может быть вред от лжи, пусть даже настолько наглой?

Возможно, знай она, каким будет ее последнее слово — окончательное последнее слово, слово справедливости, не последнее слово за сегодняшнюю ночь, — она бы понимала, что ему ответить. Но она этого не знала, поэтому просто сказала:

— Я не знаю. Но...

— Но что?

— Мне приятно, что ты признаешь истину — по крайней мере, со мной, здесь, в нашей постели.

Он отпустил ее руку. Вскинул бровь и сказал ей:

— Мне пришлось солгать. О, конечно, это было и в моих интересах. Это очевидно как демонам, так и ангелам. Это был единственный способ вернуть тебя под крышу, где тебе, моей жене, самое место. Но слушай внимательно то, что я сейчас тебе скажу, потому что это правда: я сделал это и для тебя.

— Для меня?

Он кивнул.

— Мы сделали это для тебя, — сказал он, подчеркнув первое местоимение. — Твой отец и его друг в ратуше, магистрат.

Мэри была удивлена, но больше тому, что он рассказывал ей все это, а не тому, что подтвердились ее догадки насчет заговора за ее спиной. Она подозревала это с того самого дня, когда она с родителями впервые пришла к Ричарду Уайлдеру.

Томас продолжал:

— Это был — и да, мы с твоим отцом и тем магистратом обсуждали это дважды — единственный верный способ защитить тебя от обвинений в колдовстве. Вспомни обвинения от нашей служанки. Вспомни инсинуации, которые матушка Хауленд изложила как факты. Подумай о смерти Уильяма Штильмана. Я несовершеннолетний муж и несовершеннолетний человек. Это тоже факт. Но я пекусь о тебе в достаточной мере, чтобы наставлять тебя, даже если иногда это знание преподносится таким образом, что доставляет нам обоим боль. И знаешь что, Мэри, подумай хорошенько вот над чем: я намного привлекательнее петли.

Она попыталась что-то сказать, но он приложил палец к ее губам.

— Все время, с самого начала, у твоего прошения было шансов на успех не больше, чем у маленькой ласточки в ураган. Даже нет, не так. Чем у бабочки в метель. Твой нотариус выполнил свою работу, но ты всего лишь женщина, чье поведение вызвало большее подозрение, чем жестокость ее мужа. Да, у тебя могущественный отец. Но, как мы видели здесь и в Хартфорде, даже самые могущественные люди бессильны против толпы — особенно если это толпа магистратов, — которая увидела ведьму у себя под боком.

Он положил руку на ее шею, но не сжал. Прикосновение было столь же нежным, сколь и грозным.

— Знаю, что, по твоему мнению, мои руки причинили тебе зло. Но они не веревка. И я тоже это знаю. Мы можем жить дальше как муж и жена. Мы можем. Я могу стать лучше. Но ты должна идти мне на уступки, чтобы твой отец и я могли тебя защитить.

Она тяжело сглотнула, зная, что он почувствует, как двигаются ее мышцы. У нее пересохло во рту.

— Идти тебе на уступки? Что именно это значит? — спросила она вдруг охрипшим голосом.

— Я понятия не имею, какие планы ты вынашивала и зачем тебе понадобились зубы Дьявола; я понятия не имею, как далеко зашла твоя интрижка с Генри Симмонсом. Я даже не знаю, продолжаешь ли ты навещать ту странную женщину с перешейка, Констанцию Уинстон. — Он убрал руку с ее горла. — Но пойми, что ты должна быть осторожна. Не заигрывай с Дьяволом. Он куда более жестокий господин, чем я.

Он натянул свою сорочку. Потом отвернулся от нее, взял с пола ночной горшок и направился в угол комнаты. Она сидела на кровати, кутаясь в одеяло, орошенная его словами, но не удивленная до глубины души. Она вспоминала все, что случилось с ней в ратуше.

Но она думала и вот еще что: она не сделала ничего дурного и — как-нибудь, каким-то образом — все равно освободится от ига этого человека. Более того, ее освобождение наступит не потому, что магистраты, приговорившие ее к жизни с этим человеком, пополнят свой личный список подлостей, отправив ее из этого мира в другой посредством эшафота.

— Мэри.

Он уже вернулся и сидел рядом с ней на кровати.

— Да?

— Тебе нужно отдохнуть после всего, что ты пережила. Закрой глаза и успокой свой разум.

Она кивнула, внешне повинуюсь. Но прошло несколько часов, прежде чем ее сознание успокоилось настолько, что она смогла заснуть.



А ночью ей снился сон, и он казался настолько реальным, что, проснувшись, она долго смотрела в дальнюю стену и размышляла, не было ли это знаком — и если да, то что он значит. Она записала сон в свой дневник, потому что навеки хотела сохранить в памяти увиденное.

Во сне (если это был сон) она видела маленькую девочку, не старше шести лет, одетую в сорочку небесного цвета, она ела малину из небесно-голубой миски. Волосы у девочки были золотистые, завязанные в хвост розовой шелковой лентой, они падали ей на спину, а глаза у нее были такие зеленые, что Мэри сразу подумала о кошке. На ногах у нее были изящные домашние туфельки, Мэри сама носила такие в детстве: друг отца привез их из Бомбея. Однако девочка говорила не как ребенок, а как взрослый человек, мудрый и рассудительный, проживший долгую и разумную жизнь.

Во сне Томас спал рядом с Мэри и не пошевелился, когда она заметила девочку с малиной. Комната была залита лунным светом, и девочка светилась. Мэри не боялась ее. И ее не встревожило то, что это юное создание ходит по ночам в одиночестве и носит одежду, бесполезную от холодов Новой Англии. Мэри только удивилась. Она села, опустила ноги на пол и спросила, кто она и видела ли Кэтрин, как она вошла в дом и поднялась по лестнице.

— Кэтрин не знает, что я пришла, — ответила девочка.

— А ягоды? У нас давным-давно не было свежих ягод.

Девочка взяла одну и протянула ее Мэри, словно хлеб во время причастия, и Мэри съела ее, словно она была



из теста. Она долго держала ягоду на языке, прежде чем проглотить. Вкус был изумительный, идеальное сочетание кислого и сладкого.

— Но кто ты? — снова спросила Мэри. — Или что ты? Ангел? Пожалуйста, скажи мне, что ты ангел.

— Меня нарекли именем Дезире<sup>13</sup>, и для всех вокруг я буду самой желанной.

— Для всех?

Девочка улыбнулась, как будто это был глупый вопрос, словно его задал ребенок.

— Для тех, кто узнает меня, — повторила она.

— Ты моя?

Девочка молчала, и по ее молчанию ничего нельзя было понять. Но Мэри не сдавалась:

— По твоему молчанию я могу заключить, что я бесплодная и еще могу иметь ребенка?

На этот раз Дезире подняла указательный палец, кончик которого окрасился красным ягодным соком. Она сделала шаг и прижала его ко лбу Мэри, а затем отошла, чтобы посмотреть на свою работу. Палец был теплым, прикосновение — твердым.

— Вот, — сказала девочка, — я тебя отметила.

— Пожалуйста, скажи мне, — взмолилась Мэри, — ты мое дитя? Ты дочь, о которой я молила, до тех пор пока...

— Пока что? Пока не отказалась от всяческой надежды? Пока не потеряла веру?

Мэри выпрямилась.

— До тех пор пока я не поняла, что Бог не предназначал мне растить детей.

На этот раз девочка не ответила, потому что она исчезла. Испарилась.

Утром, когда Мэри записывала в дневник все, что могла вспомнить, она пожалела, что не может вспомнить,

---

<sup>13</sup> От франц. *désirée*, «желанная».

как именно исчезла девочка. Она вышла из комнаты и спустилась по лестнице? Или она вознеслась на небо, чтобы сесть перед — не рядом, нет, конечно — их божественным Отцом? Только когда она закончила писать, а Томас заворочался, просыпаясь, ей пришла в голову мысль подойти к зеркалу и посмотреть, есть ли у нее на лбу метка.

Метки не было, и только тогда у нее зашипало в глазах, и, невзирая на присутствие ничего не понимающего Томаса, она заплакала.